

*Н. П. Морозова\**

## ЗАГАДКИ ОДНОЙ ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ «НЕВСКОГО АЛЬМАНАХА НА 1830 ГОД»\*\*

Статья посвящена загадкам стихотворения «Предание», опубликованном в «Невском альманахе на 1830 год». Автора, который подписался: К-в, вдохновило посещение Варлаамо-Хутынского монастыря и могилы Г. Р. Державина. Стихотворение было посвящено Н. М. К-чу. В статье устанавливаются адресат «Предания» (Н. М. Княжевич) и автор (М. Д. Костогоров), биография которого дополняется новыми деталями.

**Ключевые слова:** «Невский альманах на 1830 год», стихотворение «Предание», Варлаамо-Хутынский монастырь, могила Державина, М. Д. Костогоров, Н. М. Княжевич.

*N. P. Morozova*

*THE RIDDLES ONE OF THE PUBLICATIONS IN "NEVSKY ALMANAC OF 1830"*

The article is devoted to the riddles of the poem "The legend" published in "Nevsky almanac of 1830". The author, who signed as K-v, was inspired by his visit to Varlaamo-Hutytsky monastery and Derzhavin's grave. The poem was devoted to N.M. K-chu. The addressee and the author of the poem "The legend" were established in the article. They were N. M. Knyazhevich and M. D. Kostogorov, who biography is being completed.

**Keywords:** "Nevsky almanac of 1830", the poem "The legend", Varlaamo-Hutytsky monastery, Derzhavin's grave, M. D. Kostogorov, N. M. Knyazhevich.

Самой яркой публикацией «Невского альманаха на 1830 год» стало стихотворение «Предание» [7], подписанное: К-в. Оно, вероятно, было создано под живым впечатлением от посещения Варлаамо-Хутынского монастыря

---

\* Морозова Нина Петровна, кандидат филологических наук, заведующая отделом «Музей Г. Р. Державина и русской словесности его времени», Всероссийский музей А. С. Пушкина; morozova.n.p@mail.ru

\*\* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-012-00181 «Державин: pro et contra. Личность и творчество Г. Р. Державина в оценках русских писателей, критиков и исследователей».

и находившейся там могилы Державина. Основная часть стихотворения посвящена легенде из истории этой обители.

Автора вдохновило предание о наказании в 1471 г. «господаря всея Руси» Иоанна III за непочтение к мощам святого Варлаамия. Когда по требованию Иоанна вскрыли раку преподобного, случилось чудо:

Свет показался из гроба, подвинулись мощи, пламя  
Вдруг разлилось по храму и вслед за бегущим Царем  
Помчалось кровавой рекою.

Создатель стихотворения видел сохранившийся в монастыре железный посох, брошенный Иоанном во время бегства:

В ризнице храма поныне хранится посох железный,  
Брошенный гостем ужасным близ чудотворного гроба.  
И в память того посещения и совершенного чуда  
Противу раки, сверху стены, обращенной к полудню,  
Простерта рука, с железным жезлом в огромных перстах.

Заключительная строфа «Предания» посвящена Державину. «Плененный и святостью места, и благолепием храма», поэт завещал похоронить себя в Хутыне:

Царь песней высоких избрал там могилу для смертного сна...  
Лира его золотая на камне могильном лежит,  
Громкие струны затихли, звуки на небо умчались,  
Потомки певца вспоминают, песням чудесным дивятся, —  
Но гордая лира его безмолвно на камне лежит; —  
Никто не дерзает ударить в струны ея золотья!..

Авторитетный критик, издатель журнала «Московский телеграф» Николай Полевой писал о стихотворных публикациях «Невского альманаха на 1830 год»:

Сорок четыре пьесы, из коих всех лучше, по нашему мнению, стихотворение: Предание (г-на К-ва). Одну из легенд монастырских поэт рассказывает нам в сильных, прекрасных стихах, с особенною верностью лиц, характеров и слов. <...> Мы видим Иоанна <...> в Хутынском монастыре, его дерзких сановников, иноков, трепещущих пред Царем; ужас владыки, дерзнувшего открыть небесное таинство: все выдержано и превосходно! Окончание, где слито с рассказом воспоминание о Державине, мастерское <...>.

При нынешней редкости у нас самобытных талантов, при бесчисленном множестве плохих переводов в стихах, скучных отрывков, истертых пошлостей поэтических, стихотворение, подобное Преданию г-на К-ва, радует сердце читателя [8, с. 359–360].

Имя автора «Предания» до сих пор оставалось нераскрытым. Мастерство, с которым написано стихотворение, предполагало опытного литератора. «Предание» было опубликовано с подзаголовком: «Посвящено Н. М. К-чу». Подсказка оказалась на следующей странице альманаха: там с подзаголовком «Посвящено М. Д. К-ву» (по-видимому, ответный дар на посвящение «Пред-

ния») была напечатана шуточная «Сказка» Н. Княжевича (с подписью: Н. К-ч) на медицинскую тему, возможно, содержащая какой-то биографический подтекст:

Клим Карпович вино отменно как любил,  
Зато уж ненавидел воду,  
И по его рассказам, сроду  
Ее он никогда не пил.  
(Как жаль, что не успел ввести он это в моду).  
Вот как-то сделался он очень нездоров,  
Явилась куча докторов:  
И Клим уж при смерти не мог поворотиться,  
Вдруг просит он в жару воды напиться...  
«Как! — говорят ему стоящие кругом,  
Не ты ль всегда считал ее себе врагом?» —  
«Ах! — отвечал больной, — перед своим концом  
Долг христианина с врагами помириться».

Таким образом, определился адресат стихотворения «Предание» — Николай Максимович Княжевич [4], а загадочный автор «К-в» приобрел инициалы: М. Д.

Посвящение стихотворения Н. Княжевичу — чиновнику Генерального штаба, литератору, члену Вольного общества любителей российской словесности — вполне объяснимо. Его отец Максим Дмитриевич владел в Казанской губернии деревней Сокуры совместно с Державиным, супругу и тещу которого называл в письмах «любезными кумушками» [10, с. 134]. В 1792 г. Державин помог ему получить место прокурора в Уфе. Через пять лет Максим Дмитриевич стал губернским прокурором в Казани, где, занимая высокие должности, прослужил до конца своих дней (умер в 1809 г.). Четверо его сыновей успешно делали карьеру и занимались литературой. Николай Максимович, прежде чем начать службу в Киевском гренадерском полку (с 1813 г.), учился, как и Державин, в Казанской гимназии.

Любопытно, что свое самое популярное шуточное стихотворение «Мои умеренные желания» (1821) он начинает так:

Меня злой демон обольщает,  
И я стихи берусь писать;  
Но счастлив, кто науку знает  
Желаньям меру полагать.  
Своим я меру назначаю  
И очень малого желаю;  
Я буду рад, когда меня  
Хвалами в свете не оставят —  
С Державиным в ряду поставят:  
Вот все, чего желаю я!

В Вольном обществе любителей российской словесности (1816–1825), членом которого был Н. Княжевич, долгое время, несмотря на разногласия его участников, царил культ Державина. На торжественном заседании 22 мая

1823 г. в доме поэта на Фонтанке (активное участие в подготовке принимал Дмитрий Максимович Княжевич [9]) в память о нем прозвучали стихотворения В. И. Туманского «Век Елизаветы и Екатерины II. Отрывки из послания Державину» и Б. М. Федорова «Ободрение». В начале следующего года рассмотрели статью П. А. Плетнева «Разбор анакреонтической оды Державина Мечта» [2, с. 429].

В этом контексте неудивительно посещение Н. Княжевичем могилы Державина в Хутынском монастыре. Можно с большой долей вероятности считать, что его спутником, адресатом «Сказки» и автором «Предания», скрытым за инициалами М. Д. К., был Михаил Дмитриевич Костогоров (1782–1834) — переводчик, секретарь президента Медико-хирургической академии. Небольшая статья о нем в «Словаре русских писателей XVIII века», написанная В. П. Степановым [13], может быть дополнена новыми деталями.

Отцом Костогорова был, вероятно, архангельский купец Дмитрий Андреевич Костогоров (1752–?), который по переписи 1785 г. имел двух сыновей: Михаила и Андрея, родившихся после 1775 г. (материалы подворной переписи 1785 г. хранятся в Государственном архиве Архангельской области, см.: [5]). В ревизских сказках следующей архангельской переписи их имен уже нет. Вероятно, перебравшись в Москву, старший Костогоров определил сына в гимназию при Московском университете. По ее окончании Михаил был зачислен в студенты.

В годы учебы он принимал участие в литературном «Собрании воспитанников благородного пансиона» и стал близким другом А. Ф. Мерзлякова, В. А. Жуковского, Андрея и Александра Тургеневых, А. С. Кайсарова.

В мае 1800 г. Михаил Костогоров был назначен учителем российской грамматики и немецкого языка в Московский благородный университетский пансион. Отсюда 1 мая 1803 г. он перешел чиновником в Департамент министра военно-морских сил и переехал в Петербург. В мае 1808 г. Костогоров становится секретарем при президенте Медико-хирургической академии Я. В. Виллие. Эту должность Михаил Дмитриевич занимает более 25 лет, являясь одновременно в 1819–1829 гг. переводчиком Медицинской комиссии при Министерстве народного просвещения. Доля его участия во всех делах президента академии была, безусловно, немалой. Особенно трудным оказался период Отечественной войны 1812 г., когда Виллие стал главным медиком действующей армии. Он был не только организатором медицинской службы, но и полевым хирургом. По приказанию фельдмаршала М. И. Кутузова и генерала Бенигсена Виллие во время Бородинской битвы находился «в центре позиции» и, помимо осмотра многих раненых, «сделал от 60 до 80 важных операций», оказал помощь генералу П. И. Багратиону. Костогоров в своем формулярном списке лаконично указал: в 1812 г. находился при Главной армии [13, с. 131]. По-видимому, он по-прежнему состоял при Виллие и был награжден орденом св. Владимира 4-й степени, который молодым офицерам давался только за боевые заслуги.

Литературная деятельность Костогорова началась в годы учебы в Московском университете. В 1798–1803 гг. его прозаические и стихотворные переводы печатались в журналах «Приятное и полезное препровождение времени» (1798. Ч. 19), «Иппокрена» (1799. Ч. 3), сборнике «Утренняя заря» (Труды

воспитанников Университетского благородного пансиона) (М., 1800–1803. Кн. 1–2). Отдельными изданиями в переводах с французского и немецкого вышли сочинение Жозефа де Ланжюне «Екатерина Великая» (М., 1802), «новейшая повесть» А. Г. Мейснера «Женская рубашка» (М., 1802) и четырехтомный труд И. Л. Эвальда «Наука сделаться доброю девицею, доброю супругою, матерью и хозяйкою, или Ручная книга для девиц, супруг и матерей» (Ч. 1–4. М., 1804), с посвящением «российскому нежному полу».

Имя Костогорова неоднократно встречается в письмах и Дневнике Александра Ивановича Тургенева, который он вел в 1802–1804 гг. во время учебы в Геттингенском университете [1, с. 242, 248, 254, 270, 335] (два письма А. И. Тургенева к М. Д. Костогорову (от 14 мая 1807 г. и без даты) хранятся в [11]) и переписке В. А. Жуковского.

Летом 1807 г. Жуковский в письме А. М. Соковниной в Петербург выражает надежду на сотрудничество Костогорова с «Вестником Европы»: «Если М<ихаил> Дмитриевич здесь, то поклонитесь ему от меня по-дружески; надеюсь, что он не оставил литературы и будет мне иногда помогать своими переводами» [6, с. 56].

Собираясь печатать послание «Императору Александру» (СПб., 1815), Василий Андреевич пишет А. И. Тургеневу 1 декабря 1814 г. из Черни: «Если можно, уговорить бы друга Михаила Дмитриевича позаботиться о корректуре: никто не может иметь такой точности, как он. Попроси его об этом от меня» [6, с. 296–297]. Далее размышляет о планах издания собрания своих стихотворений (вышло в 1815–1816 гг.): «Корректуру же надобно непременно поручить Михаилу Дмитриевичу. Если он за нее не возьмется, то хоть бы и не печатать» [6, с. 297].

С аналогичной просьбой обращался к Костогорову К. Н. Батюшков при подготовке издания сочинений М. Н. Муравьева (Обитатель предместия и Эмилиевы письма. СПб., 1815), о чем узнаем из письма поэта Е. Ф. Муравьевой от 21 мая 1815 г.: «Говорили ли с Костогоровым по его счету? <...> Спросите его подробный счет. <...> Если бы г. Костогоров мне написал, что он сделал и как. Но боюсь употреблять во зло его снисхождение» [3, с. 331–332]. Возможно, Михаил Дмитриевич правил уже набранную книгу. К ней приложен список из 17 «погрешностей» и «Замечание»: «Издатели не признают других экземпляров, кроме тех, к которым приложен виньет». Виньетом назван гравированный по рисунку А. Н. Оленина шмуцтитул.

Участвовал Костогоров также в подготовке «Собрания образцовых сочинений в стихах и прозе» (Ч. 1–12. СПб., 1815–1817), которое издавалось А. Ф. Воейковым, В. А. Жуковским и А. И. Тургеневым, обсуждал этот проект с Батюшковым [3, с. 347–348].

Можно предположить, что Михаил Дмитриевич переводил статьи из европейской медицинской периодики для «Военно-медицинского журнала», основанного по инициативе Виллие в 1823 г.. Небольшие по объему, они публиковались анонимно.

Признанием литературных заслуг Костогорова стало избрание его в 1819 г. почетным членом «Общества любителей российской словесности» при Ярославском Демидовском высших наук училище.

Скончался Михаил Дмитриевич 12 августа 1834 г. и был похоронен на Смоленском кладбище. На памятнике сделана надпись: «Мужу, другу и покровителю» [12, с. 493].

Двое из сыновей Костогорова — Михаил (1825–1889, похоронен рядом с отцом) и Яков (1823–1881) стали генералами.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Архив братьев Тургеневых: в 6 вып. — СПб., 1911. — Вып. 2: Письма и Дневник Александра Ивановича Тургенева геттингенского периода (1802–1804 гг.) и письма его к А. С. Кайсарову и братьям в Геттинген 1805–1811 гг. С введением и примечаниями В. М. Истрина.

2. Базанов В. Ученая республика. — М.; Л., 1964.

3. Батюшков К. Н. Сочинения / сост., подг. текста, коммен. А. Л. Зорина; разделы «Листы из записной тетради 1809–1810 гг.» и «Наброски и планы незавершенных произведений» подг. В. А. Кошелевым: в 2 т. — М., 1989. — Т. 2: Записные книжки. Письма.

4. Вацуро В. Э. Княжевич Н. М. // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь: в 7 т. — М., 1989–... — Т. 2: Г–К. — С. 568.

5. Генеалогический форум Всероссийское генеалогическое древо. — URL: <https://forum.vgd.ru/201/299/>

6. Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. — М., 1999–... — Т. 15: Письма 1795–1817 гг.

7. К-в. Предание (Посвящено Н. М. К-чу) // Невский альманах на 1830 год. — СПб., 1830. — С. 465–471.

8. Н. П<олевой>. Новые книги. Невский альманах на 1830 год. Издан Е. Аладыным. СПб., в т. Плюшара, in 16, III, 5, и 486 стр. — При нем 22 стр. нот // Московский телеграф. — 1830. — Ч. XXXI, № 2. Январь. — Отд. «Современная библиография». — С. 355–363.

9. Орехова Л. А. Д. М. Княжевич — организатор публичного собрания в доме Г. Р. Державина // «...Он видит Новгород великой...» Материалы VII Международной пушкинской конференции «Пушкин и мировая культура». Великий Новгород, 31 мая — 4 июня 2004 г. — СПб.; Великий Новгород, 2004. — С. 295–307.

10. Орехова Л. А. Сосед Державина М. Д. Княжевич // Новгородский Державинский сборник (К 200-летию со дня смерти поэта). — Великий Новгород, 2010. — С. 130–141.

11. РГАЛИ. — Ф. 501. — Оп. 1. — Ед. хр. 44.

12. Санкт-Петербургский некрополь: в 4 т. / изд. вел. кн. Николай Михайлович. — СПб., 1912–1913. — Т. 2.

13. Степанов В. П. Костогоров Михаил Дмитриевич // Словарь русских писателей XVIII века: в 3 вып. — СПб., 1988–2010. — Вып. 2: К–П. — С. 131–132.

*М. А. Маслин\**

## РЕФОРМЫ ПЕТРА ВЕЛИКОГО В ОЦЕНКЕ КЛАССИКОВ ЕВРАЗИЙСТВА\*\*

Статья посвящена анализу одного из ключевых моментов евразийских дискуссий в русском послеоктябрьском зарубежье, которые вели классики данного идейного течения — Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, Г. В. Флоровский, П. П. Сувчинский и др. Споры о петровских реформах стали продолжением дискуссий столетней давности между славянофилами и западниками с той разницей, что проходили они в зарубежье и в их орбиту были вовлечены небывалые ранее события, такие как Мировая война и русская революция. На основе историософского анализа темы петровских реформ в философии евразийства возникли основополагающие концепции, такие как теория «верхов и «низов» в культуре, теория «истинного» и «ложного» национализма и, наконец, евразийская версия религиозной философии русской идеи. Евразийцы выдвинули тезис о генетической связи между петровскими реформами и большевизмом, утверждая, что оба исторические явления покоятся на основаниях «ложного национализма» — в первом случае на тотальном подражании романо-германству, а во втором — на «пролетарском интернационализме». Но тот и другой одинаково стремятся к выведению особенностей русской цивилизации не из внутренне присущих ей качеств, а из чуждых ей внешних источников. Критика русского западничества, ведущего свою родословную от царя-реформатора, и провозглашение евразийцами «исхода к Востоку» были прежде всего призывом к избавлению от бездумного подражательства и отысканию путей развития России на основе «истинного национализма». «Оправдание национализма» и «растуабуирование» темы русского национализма составляют, по оценке Николая Трубецкого и Петра Савицкого, центральное содержание евразийства как идейного течения, значение которого существенно возросло в постсоветскую эпоху.

---

\* Маслин Михаил Александрович, доктор философских наук, профессор, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; mmaslin@yandex.ru

\*\* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–011–42008 «Петр Великий: pro et contra. Личность и реформы Петра Великого в философско-культурологической и политологической рефлексии. Российский опыт и зарубежные контексты».

**Ключевые слова:** евразийство, реформы Петра Великого, Российская империя, «Верхи» и «Низы» в культуре, «истинный» и «ложный» национализм, германо-романская цивилизация, Россия-Евразия, русская революция, большевизм.

*M. A. Maslin*

*REFORMS OF PETER THE GREAT IN EVALUATION OF EURASIANIST CLASSICS*

The article is devoted to the crucial point of Eurasianism formed in Russian emigration after 1917 revolution (N. S. Trubetsky, G. V. Florovsky, P. N. Savicky, P. P. Suvchinsky and others). The debate on Peter the Great reforms became the continuation of old discussions between slavophiles and westernizers took place hundred years ago. Controversy over the person and doings of Russian Tsar in twentieth century received new features because of the new historical circumstances i. e. the World war and Russian revolution. Historiosophical analysis of Peter's reforms by Eurasianists formed major background for the formulation of some specific doctrines i. e. the theory of "Uppers" and "Lowers" in each culture; the conception of "true" and "false" nationalism and finally the new version of Russian idea. There were some specific concepts elaborated also on the reflection of Peter's reform. Such as: "mestorazvitie" (place-development), "ruling idea", "continent-ocean", "Russia-Evrasia" etc. According to classics of Eurasianism general course of Peter's reforms in direction of "Russian westernism" became one of the fundamental reasons for the future appearance of radical revolutionary ideas. Eurasianists consider Peter the Great to be predecessor of Russian bolshevism. According to them the evident parallel between Tsar Peter and Bolshevik leaders lies in similarity of general methodological preoccupations: instead of the looking for the inner proper characteristics of Russian Eurasian civilization both Tsar-reformer and Bolsheviks had been found it's sources for growth in outer stimulus both of the cosmopolitan origin — in Roman-Germanic culture or in proletarian internationalism. "Exodus to East" declared by Eurasianists instead of the Petrine "Exodus to West" did not mean however the total negation of Western type of civilization and total "turn to the West". It means only taking in account mixed and complicated character of unique Russian civilization could not be reduced exclusively to the West or to the East. This reduction is impossible because of the uniqueness of Russian Eurasian civilization which includes various ethno-geographical zones of whole Humanity such as West, East, South and North.

**Keywords:** Eurasianism, Reforms of Peter the Great, Russian empire, "Uppers" and "Lowers" in culture, "False" and "True" nationalism, Roman-Germanic civilization, Russia-Eurasia, Russian revolution, bolshevism.

Тема петровских реформ — одна из остро дискутируемых в евразийском идейном течении 20–30-х гг. XX в. Как и сто лет назад, для первых русских идейных течений, таких как западничество и славянофильство, внимание к личности и эпохе Петра I вновь становится отправным пунктом разных общественных обсуждений, с той лишь разницей, что они происходили не в России, а за рубежом, и в их орбиту втягивались принципиально новые, небывалые ранее глобальные сюжеты XX в. — мировая война и русская революция. Внимание к данной теме в евразийских кругах объяснялось особым, «проективным» характером евразийства, выступавшего с принципиально «пореволюционных» идейных позиций. Это означало, что сами по себе историософские экскурсы в эпоху правления Петра Великого не были для евразийцев самоцелью, поскольку опыт петровской модернизации-вестернизации рассматривался ими «от противного», как наследие, подлежащее пересмотру с целью отвержения «шаблона германо-романской цивилизации» и раскрытия истинного потенци-



ала российской евразийской цивилизации. Формулируя центральную русско-евразийскую идею, П. Н. Савицкий писал: «Россия должна освободить мир от рабства пред новейшим романо-германским шаблоном. Это освобождение есть, прежде всего, духовная проблема» [7, с. 15].

Разъясняя в письме к П. П. Сувчинскому от 23 февраля 1925 г. суть своего отношения к реформам Петра I, основатель евразийства Н. С. Трубецкой прибегает к сравнению личности и деяний Петра I с большевизмом. Как известно, параллель «Петр — первый большевик» разделял также Н. А. Бердяев, высказывавший критическое отношение к евразийству, но вместе с тем называвший его единственным последовательным пореволюционным течением в русском зарубежье. Суть деяний Петра I Трубецкой определил как «соединение империализма с оскорблением национального чувства и религиозных основ русской жизни» [10, с. 384]. При этом Трубецкой ссылается на то, что сравнение царя Петра с большевиками является не его личным, а *народным мнением*: с одной стороны, народ прельщается демагогией типа «царь-плотник» и т. п. С другой стороны, народ и там, и тут чувствует дух антихриста. Вот почему народ считает, что Петра нельзя почитать и чествовать, а за него можно только молиться. Космополитизм петровских реформ и большевизм внутренне близки, поскольку одинаково полагают нахождение центра русской культуры не в ней самой, а вне ее — в «романо-германстве» или в «пролетарском интернационализме», тем самым лишая отечественную культуру ее собственного национального содержания. Отсюда понятно, что в состав «новейшего романо-германского шаблона» П. Н. Савицкий включал также и большевизм.

И тот, и другой внутренне близки и равным образом заслуживают осуждения и радикального пересмотра в сторону того, что князь Трубецкой называл «оправданием национализма». Для безнационального большевистского интернационализма национализм являлся тягчайшим грехом и главнейшим табу, и снятие этого проклятия евразийцы считали первой своей задачей. При этом речь вовсе не шла об имперском политическом национализме-шовинизме; слово «нация» в евразийском лексиконе было заменено на слово «народ», причем последний определялся не в этническом (тем более в моноэтническом) смысле. У евразийцев речь шла об «общеевразийском национализме» — антиподе как имперскому романо-германству, так и большевизму. Более того, интернационализм, проповедуемый марксизмом, является наиболее законченной, «обнаженной» формой романо-германства, поскольку он не дает отдельным людям и народам познать самих себя и стать самими собой, и даже наоборот, заставляет их «быть не тем, что они есть». Проповедуемое марксизмом восстание «низов» против «верхов» является мнимым, поскольку, по словам Трубецкого, «те, кто из низов, пролезет в верх, сами сделаются такими же, как те, кто сейчас наверху». В этом отношении идеи социализма и коммунизма принципиально не отличаются от романогерманства, являясь на самом деле его последней и наиболее изощренной формой.

В любой культуре существуют различия между «верхами» и «низами», но дистанция между ними не должна быть непроходимым барьером, препятствующим сообщению. Именно такой барьер был создан в ходе петровских реформ, нарушивших преемственное развитие русской культуры и явившихся

не продолжением, а отрицанием Московской Руси. Разумеется, процесс преемственного развития культуры не отвергает возможность заимствования инокультурных ценностей, а предполагает ее; так произошло в допетровскую эпоху, когда византийское православие было усвоено сперва «верхами» Древней, а затем и Московской Руси и когда в основе процесса движения культуры было распространение восточного христианства на «нижних этажах». Более изолированная, несущая на себе отпечаток индивидуальностей ее творцов культура книжников Московской Руси может отличаться по степени своего развития от низовой культурной массы, но все же это различия и оттенки внутри единой культуры. Приходится говорить не только о внешнем сходстве большевизма с петровскими реформами, но и о внутренней генетической их связанности, ибо культурный разрыв между «верхами» и «низами» сыграл роль предпосылки русской революции.

По оценке Н. Н. Алексева, ведущего философа права евразийцев, официальная политика российского имперского государства, сложившаяся в эпоху царствования Петра I, положила основу для институционализации такого отрицательного явления, как «русское западничество». По Алексеву, оно включает в себя три основных проявления: реакционная государственная политика, в основе которой стремление походить на Пруссию, забыв и поправ самобытный исторический опыт допетровской Руси; а также либерализм и радикализм. Либерализм как форма русского западничества «всегда был чем-то кабинетным и отвлеченным, не умел войти в жизнь и потому потерпел решительный крах в эпоху революции» [1, с. 127]. Если западническая политика имперского государства пыталась привить России «начала старого европейского порядка», то либерализм ставил своей целью распространять принципы «просвещенной» Европы. Радикализм также стал болезненным проявлением западничества (в основном в форме социализма и марксизма). Несмотря на внешнее несходство перечисленных трех форм русского западничества, Алексеев выделил в них несколько общих черт:

1. Все русские западники являются эпигонами европейской культуры, убежденными в том, что западная культура — «единственная настоящая», кроме нее нет никакой другой культуры. Расхождение только в том, что под Западом понималось: то ли «старый католически-феодальный и абсолютистский Запад или Запад буржуазно-демократический, то ли пролетарско-коммунистический».

2. Исходя из признания первенства западной культуры, русские западники видят в русском народе только «косную массу», «тормозящую развитие России к прогрессивному лучшему». Отсюда — установка на необходимое силовое вмешательство в русскую историю с целью изменения, переделки психологии народа и России в целом.

3. Русскому западничеству свойственна необоснованная вера в силу государственных учреждений, призванных к перевоспитанию «косного» народа. Западники считают, что разрешение проблем России лежит на пути внешних политико-правовых изменений, тогда как надо было обращаться к внутренней органической жизни народа. Спор между западниками шел о роде учреждений (пруссский порядок, парламентаризм или «социалистический град»), а не о том,

«способны ли сами учреждения, не связанные органически с идеалами нравственными, быть условием общественного совершенства».

4. Для русских западников характерна уверенность в том, что механическое перенесение политико-правовых институтов на российскую почву даст положительный результат. Алексеев отмечает, что «русское западничество в своем развитии завершило и исчерпало, по-видимому, все возможные свои циклы: подражали Европе старой, старались подражать Европе новой, современной, и, наконец, закончили подражанием Европе будущей, еще реально не существующей или только существующей в зародыше» [1, с. 141].

Характерные для евразийских коллективных сборников заголовки типа «Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев» (подзаголовок первого евразийского сборника «Исход к Востоку», 1921) и «Утверждение евразийцев» (подзаголовок второго сборника «На путях», 1922) отражали устремленность евразийцев в будущее, а не в прошлое. Основатели евразийства — Н. С. Трубецкой, Г. В. Флоровский, П. Н. Савицкий и П. П. Сувчинский — исходили из убеждения в том, что периоду петербургской имперской модернизации, идущему от реформ Петра I, положен конец и XX в., а именно Мировая война и русская революция, открыл новый, евразийский период отечественной истории, которому принадлежит будущее. Катастрофические события лишь ускорили выпадение России из европейского исторического бытия, что было подготовлено общим характером этногеографического месторазвития России-Евразии, где сформировались особые ценностные, ментальные, культурно-хозяйственные и иные связи, скрепившие этот «континент-океан». На этом фоне реформы Петра I выглядят лишь эпизодом, который мог внести временный разрыв, но не смог переломить неуклонное течение потока русско-евразийской исторической жизни.

В 20-е гг. евразийство быстро разрасталось, привлекая все новых сторонников, становясь ведущим идейным образованием русского послеоктябрьского зарубежья, завоевывая особенно большое число сторонников среди молодежи, успевшей получить в России образование, но не нашедшей себе места на чужбине и потерявшей интеллигентские старорежимные иллюзии о дорогой Европе как «стране святых чудес». Отсюда свойственное евразийцам, претендовавшим на роль идейных младореформаторов, предубежденное, пренебрежительное или просто нигилистическое отношение к старшему поколению русских мыслителей, носителей «дореволюционного сознания», которых среди евразийцев было принято называть «старыми гримзами» (Николай Трубецкой пустил в оборот еще более обидную кличку — «рамолики», от французского *ramolli*, т. е. выжившие из ума старики). Речь здесь не о каких-либо конкретных направлениях евразийской инвективы в сторону «стариков», будь они контрреволюционеры, реакционеры или, наоборот, революционеры — большевики, меньшевики или эсеры. Никакого доверия не было ко всем, в т. ч. и к либералам, которым доставалось от евразийцев не меньше, чем монархистам, не случайно известные в прошлом кадеты А. А. Кизеветтер и П. Н. Милюков стали злейшими врагами и самыми острыми критиками евразийства. Чего только стоит только одно ругательное слово-перевертыш, принадлежащее Милюкову, — «Азиопа».

Рассматривая историю страны в свете ее будущего социально-политического устройства, евразийцы отвергали как демократическую республику западного образца, так и реставрацию монархического режима, не устраивало их и возвращение к конституционной монархии образца 1905–1917 гг. Все надежды на то, что каким-то чудесным образом, самим собой произойдет воссоздание былой Российской империи, желательно в том виде, какой она была при Петре I или Екатерине II, несбыточны и несостоятельны. С иронией об этом писал Николай Трубецкой:

В одно прекрасное утро мы проснемся и узнаем, что все, что, по нашему представлению, сейчас происходит в России, было только тяжелым сном или что все это вдруг, по мановению волшебного жезла исчезло. Россия опять оказывается великой державой, которую все боятся и уважают, которой наперерыв предлагают самые заманчивые политические и экономические комбинации, которой остается только свободно избрать себе самую лучшую форму правления и зажить припеваючи на страх врагам и себе на славу [11, с. 127].

Особенно странными, по Трубецкому, являлись имперские монархические грезы бывших бойцов Белой гвардии, составлявших значительную часть первой волны русской эмиграции, насчитывавшей по данным Лиги Наций около 1 160 000 беженцев из России. Около четверти из них принадлежали к Белым армиям, ушедшим в эмиграцию в разное время с разных фронтов [4, с. 43]. Положение бывших белогвардейцев было наиболее тяжелым.

Владимир Варшавский, автор блестящих мемуаров о молодежи первой волны эмиграции, рассказал о судьбах русских офицеров, защищавших Францию в годы Великой войны и павших на полях сражений в Западной Европе. Среди них было много настоящих героев (в т. ч. мальчишек 1899 г. рождения!), георгиевских кавалеров, ставших после войны «нищими изгнанниками» и затаивших глубокую обиду на неблагоприятную и негостеприимную Европу. Варшавский пишет:

Как отплатили союзники Добровольческой армии за верность? Бросили ее на погибель! Белогвардейская эмиграция долго не могла забыть обиды. Чувство негодования еще усилилось, когда бывшие белые воины после голодного сидения на «Голом поле», подписывая кабальные рабочие контракты, начали расселяться по странам Западной Европы. Бесправные беженцы, они могли рассчитывать только на самую тяжелую и плохо оплачиваемую работу. Да и такую работу становилось все труднее получать... Они рассказывали о таких преступлениях и страданиях, казалось, камни должны были возопить, но их рассказы вызывали только раздражение [2, с. 28].

Тема конфликта поколений, в целом вообще характерная для эмигрантской культурной среды, была спроецирована евразийцами на осмысление отечественной истории. Гегелевское разделение народов на «исторические» и «не-исторические» в соединении с ницшеанским выделением «страны отцов» и «страны детей» (Vaterland и Kinder Land) в интерпретации Г. В. Флоровского должно быть усилено более глубоким — метафизическим, культурно-философским противопоставлением двух «жизнепониманий» — ретроспективного

и перспективного (проективного). Первое обращено в прошлое и связано с линейным пониманием прогресса, которое всецело ориентируется на прошлое. Здесь возможны варианты: Провидение, Мировой Разум или циклическая концепция, согласно которой все народы проходят одни и те же циклы превращений — разница только в их темпе и ритме. Но в любом случае значение «мирового центра» остается за германо-романской цивилизацией, выполняющей в истории функцию «страны отцов». Согласно этой схеме по истории одного народа мы можем прочитать «вперед творимую историю другого», ибо, согласно знаменитому афоризму Цицерона, *historia est magistra vitae* (история — учительница жизни). Флоровский пишет:

Так на почве всемирного плана человеческой истории рождалось русское «западничество». Это был уже не здравый смысл «Царя-мастерового», и не стихийный *Drang nach Westen*, не бытовая европеизация, а подлинная историософия национальной судьбы. Раз нет предков кровных, надо их добыть, нужно добиться усыновлением доступа в «одно из великих семейств рода человеческого» [12, с. 57].

В качестве примера такого «усыновления» западническая логика «Иванов, не помнящих родства» рассматривает петровскую модернизацию, последовательно добывавшуюся для России «усыновления» Западом. В результате тысячелетнее культурное наследие России объявляется ненужным, вышедшим из употребления и подлежащим пересмотру. В противоположность этой западнической логике евразийство с самого начала своего идейного оформления стремится обратить внимание соотечественников на необходимость целостного восприятия отечественной истории, включающего период древности и татаро-монгольского ига. Главное произведение Г. В. Флоровского — «Пути русского богословия» (1937), созданное на основе переосмысления его статей евразийского периода, было первой в своем роде интерпретированной историей русской духовной культуры с беспрецедентным охватом материала — от Крещения Руси до XX в. Никто из его предшественников, включая чешского философа Томаша Масарика, а также русских авторов — Э. Л. Радлова, Г. Г. Шпета, Б. В. Яковенко и др., не создавал столь обширной картины развития русской мысли, причем рассмотренной в общем контексте духовной культуры, не только отечественной, но и европейской. Кроме того, никто до Флоровского так подробно не освещал историю отечественной философско-богословской мысли допетровского периода. Флоровский опубликовал свою книгу раньше других обобщающих историй русской мысли, опередив Бердяева («Русская идея», 1946), Н. О. Лосского («История русской философии», 1951, на английском языке), В. В. Зеньковского («История русской философии», т. 1–1948, т. 2–1950). По своей историографической и источниковой оснащенности книга Флоровского существенно превосходит работы трех последних авторов, хотя они оказались более известными в XX в.

Работы Г. В. Флоровского и Г. В. Вернадского способствовали преодолению комплиментарного для царствующей династии Романовых взгляда на историю, предполагавшего ее выборочное освещение, в т. ч. превознесение «витринных достижений» эпохи Петра Великого, замалчивание роли «монголосферы»

в становлении русской государственности, а также мифы о неразвитости и «невежественности» культуры Древней Руси.

Как застарелый предрассудок, не выдерживающий серьезной научной критики, Флоровский оценивает концепцию П. Я. Чаадаева о «роковом выборе» для Руси ее христианизации по образцу «жалкой Византии», главным результатом чего было, согласно Чаадаеву, последующее отделение «нецивилизированной» России от цивилизованной Европы. В противоположность этому, основываясь на своих обширных познаниях в области византологии (которыми Чаадаев не обладал), Флоровский уже на первой странице «Путей...» утверждает:

В X в. Византия вовсе не была в упадке. Напротив, это была одна из эпох византийского расцвета и возрождения. И более того, в X в. Византия была строго говоря, единственной страной подлинно культурной во всем «европейском» мире [13, с. 1–2].

Выступает Флоровский и против принижения кирилло-мефодиевской традиции, благодаря которой Русь получила Библию в славянском переводе. В противоположность Г. Г. Шпету и Г. П. Федотову, он пишет, что для русской культуры это отнюдь не было «ошибкой или неосторожностью», якобы явившейся тормозом для культуры. В действительности славянский перевод, по Флоровскому, ближе к греческому оригиналу, чем распространенный на Западе латинский вариант перевода Библии:

Славянский язык сложился и окреп именно в христианской школе и под сильным влиянием греческого церковного языка, и это был не только словесный процесс, но именно сложение мысли. Влияние христианства чувствуется значительно дальше и глубже собственно религиозных тем, чувствуется в самой манере мысли... [13, с. 6]

Самое распространенное, а по сути, господствующее умонастроение в среде русской эмигрантской молодежи, которое прежде всего отразило евразийство, можно определить как психологическое антизападничество. Если французские изгнанники — аристократы, бежавшие от Французской революции в XVIII в., были встречены в России сочувственно и жалостливо, окружены вниманием и наградами, то русские эмигранты в Европе были всеми брошены и забыты. Естественной историософской и культурологической реакцией на эту пореволюционную ситуацию в русском зарубежье стало критическое отношение к деяниям и личности Петра I, «прорубившего окно в Европу» и ставшего в глазах русских изгнанников первопричиной того враждебного и неприязненного отношения романо-германских «общечеловеков» к русскому народу, которое каждодневно ощущалось в зарубежье.

Первым и наиболее убедительным выразителем характерного евразийского неприятия петровской имперской модернизации стал молодой гениальный филолог и лингвист (знал 49 иностранных языков) Н. С. Трубецкой, автор книги «Европа и человечество» (София, 1920). Коренным изъяном петровских реформ Трубецкой считал одностороннюю ориентацию царя-реформатора на романо-германскую культурно-цивилизационную матрицу, на ее усвоение и имитацию в условиях России. Тогда как западнический вектор вовсе не ис-

черпывает все многообразие этногеографических зон, в которые включена многосоставная культура России, ибо она содержит в себе и «Восток», и «Запад», и «Север» и «Юг», являя собой образ не какой-то локальной цивилизации, а человечества в целом и всечеловеческой культуры.

В противоположность космополитической в своей основе идеологии петровской модернизации Трубецкой выдвинул программу, построенную на признании своеобразия русского евразийского национального сознания, в основе которого — религиозно-культурная и национальная идея Москвы как наследницы Византийского царства и потому действительного средоточия христианского мира. В процессе европейской модернизации эта идея была извращена и заменена на европейскую позитивно-политическую идею империи, в результате чего Российская империя оказалась неожиданным союзником вчерашнего врага — Европы. У Трубецкого отчетливо проявляется критическое отношение к петербургскому периоду российской истории в целом и к европейской идее империи, германо-романской, но вовсе не евразийской по своему происхождению. Однако критика имперского этатизма не распространялась на признание им высоких достижений русской культуры, многие из которых были осмыслены и развиты самим автором «Европы и человечества».

Европеизация русской культуры как ведущее направление петровской модернизации была осложнена характерными для российской имперской культуры особенностями, которые определялись неоднородностью входивших в ее состав национально-культурных образований, что детерминировало неравномерность и асинхронность продвижения европеизации на имперском пространстве. Взгляд на русскую историю «не с Запада, а с Востока» способствовал преодолению евразийцами целого ряда иллюзий имперского периода, в т. ч. панславистской иллюзии о существовавшем якобы «славянском братстве», благодаря которой Россия жертвенным и роковым образом оказалась втянутой в Первую мировую войну. Эта иллюзия была посрамлена прежде всего на фронтах войны, где российские, австрийские и турецкие славяне убивали друг друга во имя чужих — англо-саксонских и германо-романских — интересов. Евразийская критика панславизма гораздо ближе стоит не к славянофилам, порой впадавшим в идеализацию славянства, получившую во времена русско-турецкой войны название «славянобесия», а к «эстетическому консерватору» Константину Леонтьеву, который считал, что славяне слишком далеко продвинулись по пути «упростительного смешения» под влиянием романогерманства. Тезис Леонтьева «славянство есть, славизма нет» Н. С. Трубецкой вполне разделял на основе данных филологической науки, считая, что «язык, и только язык связывает славян друг с другом». Как ученый — филолог и лингвист он конкретизирует эту мысль следующим образом:

Русский литературный язык есть общеславянский элемент в русской культуре и представляет из себя то единственное звено, которое связывает Россию со славянством. Говорим «единственное», ибо другие связывающие звенья призрачны. «Славянский характер» или «славянская психика» — мифы. Каждый славянский народ имеет особый психической тип, и по своему национальному характеру поляк так же мало похож на болгарина как швед на грека. Не существует и общеславянского физического, антропологического типа. «Славянская куль-

тура» — тоже миф, ибо каждый славянский народ вырабатывал свою культуру отдельно, и культурные влияния одних славян на других нисколько не сильнее влияния немцев, итальянцев, тюрков и греков на тех же славян. Этнографически славяне принадлежат к различным этнографическим зонам [8, с. 93].

Что же касается единства общероссийской культуры, основывавшегося, как считалось, на «кровной» и «единоверческой» основе славянских народов, то и это единство с пореволюционной евразийской точки зрения оказалось иллюзией. Культура западнорусская и культура Московской Руси развивались разными путями, благодаря чему к середине XVII в., по оценке Н. С. Трубецкого, различие между двумя этими культурами стало очевидным, хотя общность византийского культурного преемства не позволяла говорить, что это культуры разные. Трубецкой определяет их как разные редакции или индивидуации единой общерусской культуры. Вместе с тем после присоединении Украины логика имперской вестернизации поставила вопрос о слиянии этих двух редакций, и в этой ситуации преимущество оказалось на стороне украинской, западнорусской редакции, более продвинутой на пути вестернизации, главным образом за счет польско-латинского влияния, выразившегося в организации первых духовных школ на территории империи, ставших рассадником богословско-философского образования по латинскому образцу. Московская культура, напротив, тяготела к автохтонному пути развития, «европобобству и тенденции к самодовлению», поэтому оказалось, что великорусская редакция русской культуры была не только непригодна для петровской модернизации, но и прямо мешала осуществлению целей имперской модернизации царя-реформатора. Почва для этого была уже подготовлена реформой Никона, заключавшейся в исправлении богослужебных книг по западнорусским, зачастую униатским образцам, что, как известно, привело к Расколу русской церкви в середине XVII в. Таким образом, заключает Николай Трубецкой, «старая великорусская, московская культура при Петре умерла; та культура, которая со времен Петра живет и развивается в России, является органическим и непосредственным продолжением не московской, а киевской, украинской культуры» [3, с. 146]. Результат получился парадоксальный: у движущей силы петровской модернизации оказалось не безликое лицо абстрактного «западника», а конкретный лик украинского националиста, который усердно на благо имперским и своим собственным интересам трудился над укреплением Российской империи в направлении ее вестернизации, а спустя два столетия столь же усердно ее разрушал исходя из интересов украинского сепаратизма. Так на материале петровской модернизации Н. С. Трубецким раскрывается различие «истинного» и «ложного» национализма, когда последний стремится найти ориентиры для своего развития за пределами собственной национальной культуры и, отрываясь от родной почвы, эволюционирует в «злбно-шовинистическом направлении», становится врагом общерусской культуры, но оторвавшись от нее, не может произвести ничего кроме «мелкого провинциального тщеславия, торжествующей посредственности, мракобесия и, сверх того, постоянной подозрительности» [13, с. 158].

Благодаря взятому Петром курсу равнения на Европу западнорусская окраина России, переживавшая период т. н. «украинского барокко», оказалась